

Мас. 1306

1

Семья Обломовых.

По поводу „Дяди Вани“ А. П. Чехова.

Из театральных новинок настоящего сезона возбуждает наибольший интерес и читает очень большой успех пьеса г. Чехова „Дядя Ваня“. Впечатлительное, производное ею на сцене „Художественно-общедоступного“ театра, может быть сравнено только с тем настроением, которыми заражал зрителей исполненная в том же театре пьеса того же автора „Чайка“. О том и другом произведении нам уже приходилось говорить, но разсмотревши в отдельности действующих лица каждой из этих пьес не имеем того значения, которое они приобретают от сравнения с типами другой пьесы, и потому нам представляется не лишним вернуться к разсмотрению „Чайки“ и „Дяди Вани“ вместе, тем более, что продолжающийся успех последней пьесы придает этому разбору значение actualité.

Наше общее впечатление, полученное зрителем при первом знакомстве с исполнением этих пьес на сцене, господствует то тяжелое подавленное настроение, в котором находится большинство действующих лиц. Составляет ли это настроение результат общего представления автора о жизни, случайно ли сошлись вместе лица неудовлетворенные и несчастные, имеем ли мы здесь несчастие какую-нибудь связь с общими условиями жизни и с неудовлетворенностью раннее выводившихся в литературе типов, — об этом в первый момент зритель, подавленный общим тяжелым впечатлением, не разсуждает. Но по мере того, как он начинает всматриваться в действующих лиц, пред ним всплывают прежние воспоминания, рисуются знакомые черты, знакомые не со вчераш-

него дня, а с давних пор, когда таперешних посетителей этих черт еще не было на сцене, а жизненные условия представляли большие отличия от наших. Из длинной серии давнишних литературных портретов с особенной отчетливостью выступает перед нами одно лицо, черты которого повторяются в физиономиях персонажей „Дяди Вани“ и „Чайки“, сливаются с ними и в обобщенном виде приобретают новый интерес и новое значение. Это повторение прежнего типа в иной обстановке всегда возбуждает ряд вопросов о формах, которые в изменившихся условиях принимают старое явление, о переменах, испытанных им с давнего времени, а главное, о причинах, которые поддерживают существование данного типа и дают ему долгую, если не постоянную, жизнеспособность. Быть может, в самых пьесах и нет вполне точного ответа на последний вопрос, но черты, которыми обрисованы действующие лица, не оставляют сомнений в сходстве последних с вполне определенными старинными литературными типами.

Из лиц, выводимых в обеих пьесах, останавливаются на себе главное внимание дядя Ваня и доктор Тригорин в другой. Дядя Ваня провел свою жизнь в деревне, управлял имением, вместе с племянницей писал хозяйственные счета, высылал деньги профессору, нуже своей сестры, и, впрочем, тосковал, никогда не зная, для чего он живет на свете, какова его цель, в чем жизненная радость. Овдовевший и вновь жалившийся профессор пришел в деревню с молодой женой, и при взгляде на последнюю дядя Ваня показалось, что и он сам имеем право занять какое-нибудь местечко на жизненном пиру; показалось ему дальше, что приятствием к займанию этого местечка является профессор, муж той женщины, которая ему понравилась, и тогда в возбужденном воображении дяди Вани понятие о профессоре соединилось с понятием о каком-то

кошмар, давившем его всю жизнь, отнявшем у него и молодость, и волю, и право на счастье. Достаточно было упоминания о профессоре, чтобы взволновать дядю Ваню, и достаточно нескольких слов самого профессора, чтобы в состоянии аффекта дядя Ваня выстрелил в воображаемого врага. А когда вся жизнь прошла, дядя Ваня ясно увидал то, что сознавал смутно, т. е. что ему жить нечего, что в жизни его нет цели, в душе нет воли, а перед унылым взором не представляется ничего, кроме собственной немощности и безпольности. И тогда он покорно опустил голову и стал по-прежнему работать на профессора.

Рядом с дядей Ваней жил доктор Астров; он занимался практикой, лечил крестьян, делал операции, но в душе его жило сознание, что все это не нужно, что „муравьиная работа людей“ бесплодна, что все идет к „вырождению“ и что люди, которые будут жить через 100—200 лет послѣ нас в для которых мы теперь пробиваем дорогу, не помянут нас добрыми словами. Надежда на счастье улыбнулась ему: женщина, поправившаяся дядя Ваня, не только заставила его волноваться, но и сама подвижному улеклась им. Доктору надо было только захотеть, чтобы счастье было завоевано, но он приблизился, протянул было руку и, когда увидал, что с его стороны необходимо небольшое усилие, нахнул этой рукой и не настаивал. „Ничего я не хочу, ничего мне не нужно и никого я не люблю,“ — таково данное им определение собственного душевного состояния.

Далеко от дяди Вани и от доктора Астрова жил литератор Тригорин („Чайка“). Он писал, и это писание доставило ему известность, но не принесло удовлетворения, потому что он чувствовал ненужность своего писания, выученность и искусственность его. „День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль, — говорил он: — я должен писать, я должен писать, я должен... Когда кончатся

повѣсть, какъ уже почему-то долженъ писать другую, потомъ третью, послѣ третьей четвертую... И такъ всегда, и нѣтъ ни покоя отъ самого себя, и я чувствую, что съѣдаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то въ пространство, я обвраю пылъ съ лучшихъ своихъ цвѣтовъ, рву самые цвѣты и топчу корни". Но гдѣ эти цвѣты и какіе плоды могли бы они принести, это ему неизвѣстно. Онъ писалъ, потому что привыкъ писать, а для какой цѣли, съ какими результатами, онъ не зналъ. „У меня нѣтъ своей воли,—восклицалъ онъ, обращаясь къ своей любовницѣ.—У меня никогда не было своей воли. Вѣрный, рыцарь, всегда покорный... Беру меня, увози, но только не отпускай отъ себя ни на шагъ"... А когда судьба дала ему возможность пользоваться туживъ споконѣстнѣе и туживъ счастье для того, чтобы получить минутное удовлетвореніе, онъ также не имѣлъ воли отказаться отъ этого подарка судьбы и сдѣлалъ гадость, тотчасъ же забывъ о ней и вновь отдавшись туживъ воли.

Въ той же деревнѣ, куда прѣѣзжалъ Тригоринъ и гдѣ онъ разрушилъ туживъ жизни, проводилъ остатки дней дѣйствительный статскій совѣтникъ Соринъ, и этотъ Соринъ называлъ себя „человѣкъ, который хотѣлъ". „Въ молодости когда-то я хотѣлъ сдѣлаться литераторомъ и не сдѣлался; хотѣлъ красиво говорить и говорилъ отирательно... Хотѣлъ жениться и не женился; хотѣлъ всегда жить въ городѣ и вотъ кончаю жизнь въ деревнѣ". Короче, онъ ничего сильно не хотѣлъ и ни въ чѣмъ въ жизни дѣлательно не стремился.

Рядомъ съ этими типами въ „Дядѣ Ванѣ" и „Чайкѣ" есть другія, но основной тонъ и настроеніе опредѣляются тѣми лицами, главной чертой характера которыхъ является отсутствіе воли, а несчастьемъ всей жизни—отсутствіе цѣли. Какой-то органическій недостатокъ служитъ препятствіемъ для стойкихъ желаній, какая-то чужая сила толкаетъ ихъ по проложному пути, и нѣтъ дѣлательнаго стрем-

ленія въ цѣли въ душѣ каждаго изъ нихъ встаетъ уныло-безпокойный вопросъ: „зачѣмъ?" И если ни присмотрѣться ближе, ни увидѣть, что всѣ эти лица сохраняютъ извѣстныя, нѣсколько измѣнившіяся сообразно измѣнившимся жизненнымъ условіямъ черты Обломова. Это онъ, Илья Ильичъ Обломовъ, воплотился въ „рыцаря, мягкой покорной" фигурѣ извѣстнаго литератора Тригорина, въ энергичномъ на видъ, но лишенномъ цѣли докторѣ Астровѣ, въ быстро вспыхивавшемъ но, также быстро погасающемъ настанномъ дядѣ Ванѣ. Это онъ носитъ съ собой атмосферу унынія, безволия и безплодныхъ вопросовъ при всякомъ самостоятельномъ движеніи: „зачѣмъ? въ чѣмъ? а потомъ?" Обломовскія черты сквозятъ въ каждомъ шагѣ дѣйствующихъ лицъ, въ выраженныхъ или желаніяхъ, въ мечтахъ, въ безконечно уныломъ сознаніи, что жизнь могла бы быть лучше и что сами они выше того недостойнаго существованія, которое ведутъ. Для полноты сходства не достаетъ только Штольца, извѣстнаго на современнѣйшій ладъ и противопоставляющаго унылымъ вздохамъ Обломова свою энергію самодовольнаго дѣльца.

„Въ чемъ заключаются главныя черты обломовскаго характера?"—спрашиваетъ Добролюбовъ въ знаменитой статьѣ, посвященной разбору гончаровскаго романа. „Въ совершенной инертности, происходящей отъ его апатіи ко всему, что дѣлается на свѣтѣ... Общее у всѣхъ этихъ людей то, что въ жизни нѣтъ имъ дѣла, которое бы для нихъ было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религіей, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ значило бы лишить ихъ жизни". Но не только такого дѣла нѣтъ у дѣйствующихъ лицъ „Чайки" и „Дяди Вани"; нѣтъ у нихъ вѣры въ необходимость цѣлесообразности какого бы то ни было предпринятаго ими шага. Докторъ Астровъ говоритъ: „Когда шумитъ мой молодой дѣсь, посаженный моими руками, я сознаю, что влиять вѣрно и въ моей власти и что если черезъ тысячу лѣтъ человѣкъ

будетъ счастливъ, то въ этомъ немножко буду виноватъ я". Но освѣщаетъ ли его жизненный-путь сознаніе той пользы, которую онъ приноситъ или принесетъ? Нисколько. „У меня вдали нѣтъ огонька,—говоритъ онъ.—Ничего я не хочу, ничего имъ не нужно, никого я не люблю". И Обломовъ ничего не хотѣлъ, и ему ничего не было нужно, и для него не было огонька. Желанія просыпались и исчезали, none было силы, чтобы ихъ выполнить, не было воли, чтобы ихъ удерживать. И въ то же время Обломовъ „болѣзненно чувствовалъ, что въ немъ зарыто, какъ въ ягилѣ, какое-то хорошее, свѣтлое начало, можетъ-быть, теперь уже умершее, или лежитъ оно, какъ золото, въ ядрахъ горъ, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело заваленъ кладъ дрянью, вносимымъ соромъ. Кто-то будто украсть и закопалъ въ собственной его душѣ принесенныя ему въ даръ мироты и жизнью сокровища". И дядя Ваня также болѣзненно чувствовалъ, что онъ безконечно выше того жалкаго существованія, которое онъ влачилъ всю жизнь: „Я талантливъ, уменъ, силенъ, если бы я жилъ нормально, то изъ меня могъ бы выйти Шопенгауэръ, Достоевскій"... Но что имѣлъ и имѣлъ ему жить „нормально"? Въ чемъ заключается препятствіе? Надо найти какое-нибудь хотя бы минутное самоутѣшеніе, надо представить себѣ, что не въ немъ самомъ, не въ безволии дяди Вани лежитъ эта непреодолимая претрада, а въ чемъ-то постороннемъ, ненавистномъ и виновномъ. И вотъ дядя Ваня избираетъ ишнемъ для своихъ обвиненій профессора. Но сдѣлался ли бы онъ счастливѣе, если бы профессора никогда не существовало? Нашелъ ли бы цѣль жизни? Прегратился ли бы онъ въ Достоевскаго или въ Шопенгауэра? Дядя Ваня самъ сознаетъ, что это вздоръ, что отдѣльный человѣкъ не можетъ быть виновникомъ того печальнаго душевнаго состоянія, въ которомъ онъ находится, что онъ самъ никогда не имѣлъ передъ собой жизненной цѣли и теперь не видитъ смысла въ жизни. И когда всматриваешься про-

ходить, онъ покорно опускаетъ голову и опять начинаетъ работать на профессора, потому что, подобно Облонову, онъ „нравственный рабъ“, человекъ, которому необходимо господинъ и который безъ этого труда еще болѣе ощущалъ бы свою необходимость. „Если бы можно было прожить остатокъ жизни какъ-нибудь по-новому,—восхищается онъ.—Приспуться бы въ ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты началъ снова, что все прошлое забыто, разбѣлалось какъ дымъ. Начать новую жизнь... подсажи мнѣ, какъ пачать... съ чего начать“. Но ни о какой новой жизни, конечно, не можетъ быть и рѣчи, и одновременно мучался стыдомъ за свою бессмысленную вешинку и сознаниемъ безвыходности своего положенія, „дѣтя мое,—говоритъ онъ племянникъ Сонѣ,—какъ мнѣ тяжело! О, если бы ты знала, какъ мнѣ тяжело!“ И въ своей внезапной вспышкѣ, и въ своемъ поспѣдующемъ уныніи онъ повторяетъ то, что чувствовалъ и переживалъ Облоновъ. И Облонову были доступны „послажденія высокихъ помысловъ“, и онъ испытывалъ „безвѣстная, бессмысленная страданія и тоску, и стремленія куда-то вдалѣ“. И съ ними случалось, что вдругъ

онъ исподвинулъ прерыва къ людскому пороку, по жи, къ клеветѣ, къ разлантоу въ мнѣтѣ и разгорился желаніемъ указать человеку на его явны и вдругъ загораются въ немъ мысли, ходить и гуляють въ головѣ, какъ воли въ морѣ, нотомъ вырастають въ памѣренія, зажутъ всю кровь въ нозѣ; задрожатъ мускулы его, напрягутся жилы, памѣренія преобразуются въ стремленія онъ, движимый нравственной силой, въ одну минуту быстро измѣнитъ двѣ—три помы, съ бланетающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно оспрается кругомъ. Вотъ, вотъ стремленіе осуществится, обратится въ подвижъ... и тогда, Господи! какихъ чудесъ, какихъ благихъ послѣдствій могли бы ожидать отъ такого высокаго усилія! Но, смотришь, пронелькнетъ утро, день уже клонится къ вечеру, а съ нимъ клонится къ покою и утомленнымъ силамъ Облонова: буря и волненія смиряются въ думѣ, голова отрывается отъ думъ, кровь медленно пробирается по жиламъ. Облоновъ тихо, задумчиво преворачивается на спину и, устремивъ печальный

взглядъ въ окно, къ нобу, съ грустью промываетъ глазами сонное, волнованно саднившееся за что-то четырехэтажный домъ“.

Вся разница между душевными состояніемъ Облонова въ такіе моменты и безумной истинной дѣлѣ Вани заключается въ разнотрѣхъ изнуреннаго душевнаго подъема для того, чтобы въ самомъ себѣ отковать тотъ килъ, который „завалитъ дражно, непостижнъ горюхъ“. И тѣмъ сильнѣе была подхвѣтъ, тѣмъ чувствительнѣе реакція, тѣмъ изнорде то чувство, съ которымъ дѣла Вани нмѣю принимается за работу на профессора.

Какъ обильнѣе „нравственнымъ работъ“ оказывается литераторъ Тригоринъ. Ему тоже хочется уйти отъ своей обломовской жизни, ему чудится „любомъ нова, прелестная, поэтическая, увосная въ нѣрѣ грѣхъ“, онъ также нормируется куда-то, и во немъ что текутъ обломовскія „сладкія сны“ уныленія. И когда онъ бросаетъ эту „душу, прелестную, поэтическую“ любовь, въ думѣ его нѣтъ даже той грусти, съ которой Облоновъ проводжалъ заходящее солнце. Онъ опять дѣлается работъ прежней жизни, опять не видитъ „огонька“ впередъ, опять чувствуетъ званіе ко вселу, что дѣлается на стѣнѣ, и мечтаетъ только о томъ, какъ жаль бы въ доронѣ, какъ лонилъ бы рыбъ, спокойно и тихо, не думая ни о нислѣнѣ, ни о воли, „уносилъ въ нѣрѣ грѣхъ“, а только о ерѣи и оури, подвѣтъ который „такое бланеніе“. Это все тѣ же обломовскія мечты, тотъ же Илья Илать, который, соединивъ съ Агафѣей Матвѣевной, рѣшилъ, что „ему куда больше идти, нечего искать, что нмѣетъ его жизни осуществится, тотъ былъ воли, безъ тѣхъ лучей, которыми вѣжнѣ преобразованъ рисовало ему дальнѣйшее теченіе жизни“.

Въ этихъ трехъ ликахъ—дядѣ Ванѣ, доктору Астрову, литератору Тригорину—проявляются три стадія обломовскаго существованія. Дядя Ваня, это—тотъ Облоновъ, о которомъ Штольцъ говоритъ знаменитую литературу: „Не глумѣ другнхъ, цѣна чести в лѣнѣ, какъ стекло; блан-

городенъ, нѣженъ, и... провалъ“. Дядя Ваня „провалъ“ и лутается, и тщетно ищетъ выхода, тщетно, подобно Облонову, „старается свергнуть съ себя бремя упрямыхъ совѣсти, найти виноватаго нѣтъ себя и на него обратить жало нѣтъ“. Какъ Облоновъ въ Захарѣ, старается онъ найти виновника въ профессорѣ, и такъ же, какъ Облоновъ устраиваетъ глупую сцену Захару, дядя Ваня бессмысленно ведетъ себя по отношенію къ профессору. А затѣмъ, когда вспышка прошла, „хрустальная“ душа обонѣ не можетъ злобствовать на другихъ. Когда Облоновъ „вспомнилъ подробности сцены съ Захаромъ, дядю его вспыхнуло нѣлнѣе пошаронъ стыда“. А дядя Ваня говоритъ доктору Астрову послѣ своей нелѣпой сцены съ профессоромъ: „Стыдно! если бы ты зналъ, какъ нѣтъ стыдно! Это острое чувство стыда не можетъ сравниться ни съ какой болью! Невмощно!..“ И дядя Ваня, и тотъ Илья Ильичъ Облоновъ, о которомъ говорилъ Штольцъ, оба—„хрустальныя души“, безобидные люди, никогда никому не сдѣлавшіе и неспособные сдѣлать зла, хотя первый изъ нихъ и сѣтилъ къ профессору. Но не такого уже докторъ Астровъ; своимъ широтностью и отсутствіемъ жизненной цѣлы онъ принимаетъ не только съ тоской, но и со злобой. „Какая еще такъ новая жизнь,—съ досадой говоритъ онъ на унылыхъ мечтателѣхъ собесѣдника,—наше положеніе, твое и мое, безнадѣжно“. Онъ не позволяетъ себѣ обольщаться надеждой, не и не можетъ покорно переносить свое состояніе, тутъ ли не на каждой шагъ заявляя: „Никого я не люблю“. По сознанию безнадѣжности своего положенія парализуетъ въ немъ всякія желанія, подсказываемыя либо любовью или не любовью къ людямъ. Для литератора Тригорина это сознание уже до нѣкоторой степени опредѣляетъ отношенія къ людямъ и къ общему кодексу морали. Если люди, которые будутъ жить „черезъ сто лѣтъ нѣтъ послѣ насъ, не повлннутъ насъ добрымъ словомъ“ за хорошее, то такъ же равнодушно они отнесутся и къ дурному; если „огонька“ нѣтъ впередъ,

когда работаешь для людей, то нечего бояться тени и при обратных тен-денциях. И вот Тригорин дѣлает га-дость, разрушает чужую жизнь, когда ему кажется, что съ этимъ соединена „поэзия, уносящая въ миръ грезы“, и когда для этого не требуется никакихъ усилий. И такой образъ хрустальная душа безобиднаго и несчастнаго дяди Вани поистинѣ превращается въ тѣлѣ „влаго и рылаго“ Тригорина въ нѣчто способное давить и обижать другихъ, несмотря на собственное нравственное рабство.

Мы ограничили сравненіемъ трехъ лицъ, на разу не упоминая о неудачномъ литераторѣ Треплеѣ, играющемъ большую роль въ „Чайкѣ“. Треплевъ—типъ не-удачника: онъ несчастливъ въ любви, несчастливъ въ писаніяхъ, несчастливъ во всякомъ предпріятіи. Главное же его не-счастье въ обломовскомъ отсутствіи ясной цѣли и близкаго дѣла. Но это уже совершенно больной человѣкъ, „дегенерантъ“, къ которому непріятнымъ опредѣленіемъ, созданнымъ для сравнительно нормальныхъ людей. Впрочемъ, во всей атмосферѣ „Чайки“ и „Дяди Вани“ разлитъ нѣчто болѣзненное. Да и трудно было бы пред-положить, чтобы Обломовъ, никогда не видѣвъ огня впереди и лежа при закры-тыхъ окнахъ съ тѣмъ поръ, какъ опи-салъ его Гончаровъ, могъ сохранить здоровье и не разстроить нервы. И здѣсь мы наталкиваемся на вопросъ, дѣйстви-тельно ли у Обломовыхъ съ тѣмъ поръ никогда не было никакого огня впе-реді и дѣйствительно ли они только лежа-ли. Если же нѣтъ, если въ ихъ судьбѣ были какія-нибудь важныя измѣненія, то какими причинами обуславливается сохра-неніе этого типа теперь и чѣмъ связаны современныя дяди Вани, Астровы и Три-горины съ Ильей Ильичемъ давнихъ вре-менъ.

Тотъ Обломовъ, котораго изобразилъ Гончаровъ, былъ продуктомъ вѣрнопостной Россіи. Глухая привычка получать удовлетвореніе своихъ желаній не отъ собственныхъ усилий, а отъ другихъ, раз-

вила въ немъ,—говоритъ Добролюбовъ,—апатическую неподвижность и повергла его въ жалкое состояніе нравственнаго рабства“. И это относится не къ одному только Ильѣ Ильичу, но и ко всѣмъ литературнымъ типамъ, въ которыхъ До-бролюбовъ открываетъ обломовскія черты. Всѣ они были созданы барской средой, не работали, не знали нужды въ зара-боткѣ и привыкли къ чужой заботливости о себѣ. Инертность, неспособность найти жизненный путь могла быть естествен-нымъ результатомъ такого происхожденія и такихъ привычекъ. Но въ пьесахъ г. Чехова мы видимъ дѣло съ людьми, поставленными съ дѣтства въ нныя усло-вія. Тригоринъ—писатель, и литературный трудъ даетъ ему возможность существо-вать; дядя Ваня—управляющій имѣніемъ, изъ котораго долженъ извлекать средства для хорошей жизни профессора; наконецъ, докторъ Астровъ, по собственнымъ его словамъ, работаетъ, „какъ никто въ уѣздѣ“. Всѣ они по вѣншему образу жизни не менѣе удалены отъ Обломова, чѣмъ Штольцъ, и однако ихъ всѣхъ со-единяетъ съ нервнымъ та черта, которую Добролюбовъ находилъ наиболее характер-ной для лицъ обломовскаго типа: „въ жизни нѣтъ ни дѣла, которое бы для нихъ было жизненною необходимостью, сердечною святыней, религіей, которое бы органически срослось съ ними“. Они не руководить даже тщеславіемъ, желаніе до-биться хорошаго положенія, какое-нибудь хотя бы низменное, но стойкое и власт-ное желаніе. Всѣ они куда-то порываю-тся, о чемъ-то жалуютъ и съ безнадёжною ясностью сознаютъ, что изъ нихъ „многое могло бы выйти, но не выйдетъ ничего“. Почему не выйдетъ, какая причина сдѣ-лала работающихъ людей „ненужностями“ и отняла у нихъ внутреннюю жизнь, оставивъ въ душѣ незваное пустое нѣ-сто, отвѣтъ на эти вопросы не такъ ясно вытекаетъ изъ цитированныхъ произведе-ній, какъ ясенъ онъ въ дѣлѣ Ильи Ильича Обломова.

Прежде всего, дѣйствительно ли это рас-пространенное явленіе? Не вралъ ли авторъ

нѣсколько случайныхъ характеровъ и какъ случайность ихъ изобразилъ? Но настоячи-вость, съ которой онъ выводитъ эти типы въ своихъ пьесахъ (Ивановъ въ пьесѣ, но-сящей это названіе, повторяетъ тотъ же типъ), показываетъ, что онъ придаетъ имъ отнюдь не значеніе случайности. Слѣдова-тельно, причину происхожденія современ-ныхъ Обломовыхъ мы должны искать въ условіяхъ той жизни, которая ихъ окру-жаетъ,—условіяхъ, настолько же общихъ, насколько распространены изображенные типы.

Въ „Дядѣ Ванѣ“ мы находимъ нѣсколько фразъ, болѣе или менѣе объясняющихъ причины, которыя привели дѣйствующихъ лицъ въ ихъ состояніе инертности и нравственной смерти. Во всемъ уѣздѣ было только два порядочныхъ интеллигентныхъ человѣка: я да ты,—говоритъ докторъ Астровъ дядѣ Ванѣ;—въ какіи-нибудь де-сять лѣтъ жизнь обывательская, жизнь презрѣнная затянула насъ; она своими гнилыми испареніями отравила нашу кровь, и мы стали такими же помяканы, какъ всѣ. Въ другомъ мѣстѣ онъ повторяетъ почти то же самое, рисуя провинціальную жизнь, „скудную, глупую, грязную“, заса-мывающую. Одиночество среди многолюдья, тяжелая, часто безрезультатная работа, „гнилые испаренія“ провинціальной жизни,—и въ результатъ человѣкъ „постарѣлъ, заработался, испоминился, притупились всѣ чувства“. Но въ рядомъ съ дядей Ваней и докторомъ Астровымъ выступаетъ ли-тераторъ Тригоринъ, живущій не въ провин-ціи и тѣмъ не менѣе вполне сохраняющій „влага, рылага“ свойства Обломова. Кромѣ того изъ столицы въ провинцію пріѣзжа-ютъ другія лица, для которыхъ жизненная цѣль представляетъ такой же запретный плодъ, какъ для истинныхъ провинціаловъ. „Если бы вы могли видѣть свое лицо, свои движенія,—говоритъ деревенскій житель городской посѣтителницѣ;—какая жалъ лѣнь жить! Ахъ какая лѣнь!..“ И другіе столичные жители не отличаются большою энергіей и большою жизнеспособностью; слѣдовательно, Астровы дяди Вани, Три-горины представляютъ явленіе, встрѣча-

ющеся не въ одной провинціи. Но слова доктора Астрова о своей исключительности среди жителей уѣзда, какъ о причинѣ того безнадежнаго душевнаго состоянія, въ которомъ онъ находится, повидимому, могутъ быть распространены и на другихъ персонажей. Въ этихъ словахъ таится ключъ къ пониманію Тригоринныхъ, Ивановыхъ, Треплевыхъ, къ которымъ непринижино выраженіе „среда заѣла“, но которые тѣмъ не менѣе представляютъ результатъ пропасти, лежащей между „порядочными интеллигентными людьми“, и жизнью „отравляющей кровь гнилыми испареніями“. Въ то время, когда отживалъ свой вѣкъ гончаровскій Обломовъ, пропасть между идеалами интеллигенціи и „презрѣнною жизнью“, можетъ-быть, была еще больше, но тогда возникали надежды, что надъ нею можно быстро воздвигнуть мостъ, можно уничтожить гнилые испаренія и оздоровить жизнь, тогда

„Трудилась мысль, дерзало слово,
Въ замахъ много было силъ“...

Въ длинный прощуптокъ времени, который отдѣляетъ появленіе „Обломова“ отъ „Чайки“ и „Дяди Вани“, много было попытокъ къ постройкѣ этого моста, много было силъ истрчено, много жертвъ принесено и, конечно, многое достигнуто. Немало жертвъ было изображено и въ литературѣ, и если мы возьмемъ періодъ, наиболѣе близкій къ появленію разбрасанныхъ нами пьесъ, мы увидимъ, что эти жертвы, эти литературные типы несчастныхъ имѣютъ совершенно иной характеръ, чѣмъ Тригорины, Астровы и другіе современные Обломовы. Обратите вниманіе хотя бы на героевъ Гаршина и Новодворскаго. У того и у другого вы видите лицъ, терзающихся невозможностью разрѣшить сложные общественные вопросы, разѣдающихъ сомнѣніями, испытывающихъ муки совѣсти. Въ большинствѣ случаевъ герои мучаются совнаніемъ своей отвѣтственности за чужія страданія и въ то же время безполезностью борьбы для уничтоженія этихъ страданій, т. е. для постройки моста между своими идеалами и печальной жизнью.

Но сознаніе отвѣтственности за чужія страданія настолько велико въ нихъ самихъ и вокругъ нихъ, что колебанія кончаются принятіемъ участія въ этихъ страданіяхъ, муки совѣсти ведутъ къ самопожертвованію. Такъ кончаютъ сомнѣвающимися, такъ же кончаютъ и вѣрующими, движимые той силой, которая указана, наприимѣръ въ „Художникахъ“ Гаршина,— сознаніемъ собственной отвѣтственности за несправедливости другихъ.

Но чрезмѣрное напряженіе альтруистическихъ чувствъ, характеризующее героевъ Гаршина, повлекло къ ослабленію этихъ чувствъ у тѣхъ представителей послѣдующей эпохи, физиологиче которыхъ изображены въ „Чайкѣ“ и „Дядѣ Ванѣ“. совершенно такъ, какъ въ отдѣльныхъ организмахъ чрезмѣрное упражненіе однихъ органовъ ведетъ за собой ихъ переутомленіе. Намъ уже приходилось пользоваться патологическимъ терминномъ *соеиг force*— переутомленное сердце. Лица, принужденныя ежедневно исполнять очень тяжелую физическую работу, имѣютъ увеличенное сердце, на обязанность котораго возложена усиленный трудъ; тѣмъ болѣе продолжается работа, тѣмъ болѣе гипертрофируется сердечная мышца, но подходит моментъ, когда гипертрофія уже не въ состояніи идти параллельно съ количествомъ возлагаемой на сердце работы; тогда кровь перестаетъ обращаться съ необходимой правильностью и тогда наступаютъ признаки *соеиг force*. Этихъ переутомленныхъ сердецъ, неспособныхъ биться и работать такъ, какъ оно работало у гаршинскихъ героевъ, обладаютъ Тригорины, Астровы, дядя Вани, Треплевы и друг. Они учены опытомъ другихъ, утомлены чужой работой. Они видятъ, что „гнилые испаренія“ существуютъ, но для борьбы съ ними нужно сильное сердце и твердая вѣра. Того и другого въ нихъ нѣтъ, и потому они не борются, не пытаются о борьбѣ и не видятъ передъ собой огня.

И. Игнатовъ.